ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Славин

Лев Славин

О Лапине и Хацревине

Когда я впервые увидел Бориса Лапина, ему было лет двадцать пять.

У него была репутация «старого» литератора. Он печатался с шестнадцати.

Но эти первые его юношеские стихи я прочел через много лет, и они задним числом удивили меня. Они совсем не походили на ту умную, полнокровную прозу, которую он стал писать, перевалив за двадцать. Лапин начал в эксцентрическом роде. То была какая-то странная помесь Карамзина и Хлебникова, допотопных романтических баллад и словотворческих изысков наимоднейшего покроя. «Я писал стихи книжные, туманные и оторванные от жизни», – вспоминает Лапин в автобиографической заметке. Явственный дух романтики бился и не мог выбиться из этих архаически заумных упражнений.

Первые шаги всегда подражательны. Чем больше юный автор упорствует в неповторяемости, тем неотвратимей он эпигонствует. Надо вспомнить то время, когда иждивением авторов выходило в свет безмерное количество тощих эстетских сборничков под марками «Цеха поэтов», «Московского Парнаса», какого-то «Издательства Чихи-Пихи» тиражом в двести пятьдесят – триста экземпляров и с явной претензией ниспровергнуть всю предшествующую мировую литературу. Об их существовании не подозревала страна, напрягавшая силы в трудах и боях. Ни даже Москва. Может быть – только несколько переулков, окружавших «Кафе поэтов» на Тверской, где ежевечерне происходило комнатное кипение поэтических страстей. Вскоре эта армия, рекрутировавшаяся по преимуществу из пошляков и графоманов, бесследно расточилась. Одни шагнули из поэзии прямо в коммерцию только что объявленного нэпа. Другие стали благопристойными авторами опереточных либретто.

В литературе от всего этого осталось несколько истинных талантов, для которых мальчишеская игра в гениальничанье была первой пробой сил. Среди них был Борис Лапин.

* * *

Нас познакомили. Признаюсь, не таким представлял я себе этого неутомимого путешественника, автора «Тихоокеанского дневника» и «Повести о стране Памир». Передо мной стоял невысокий худенький юноша с изящной и хрупкой внешностью типичного горожанина, сутулый, словно от неумеренного сгибания над письменным столом, неразговорчивый, порывистый. Речь его была сдержанна и как-то рассчитанно банальна. Толстые стекла отстраняюще холодно мерцали под высоким, чистым лбом. Красивый нежный рот улыбался редко, с напряженной вежливостью. А под всем этим была какая-то не выраженная, но явственно ощущаемая сила.

Он похвалил что-то написанное мной все в той же небрежной, отрывистой манере. Позже я стал догадываться, что истоки этого ненатурального высокомерия – в застенчивости Лапина. Изредка он оживлялся, и тогда все существо его вспыхивало детской свежестью.

Впоследствии, когда я с ним подружился, я увидел, что основой его душевной организации была именно эта прелестная, непосредственная, детски нетронутая свежесть. Но и тогда временами он вдруг ускользал в свою скорлупу несколько надменной замкнутости, увлекаемый туда отвращением к интимным излияниям, в которых всегда ему чудилось подозрительное красноречие.

Иногда, рассказывая что-нибудь (а рассказывал он с блеском истинного художника), он вдруг осекался и, к удивлению слушателя, впадал в бесцветное бормотание. Он стыдился своего блеска, он намеренно притушивал его, боясь быть уличенным в неестественности, в позе, которой он чурался больше всего на свете.

* * *

Лапину скоро надоела мышиная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. Однажды он отшвырнул от себя всех этих Новалисов и Кусиковых, «общительных мамелюков» и «радучих горевальцев».

Что ему весь этот прокатный бред экспрессионизма! Он вырос из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заемное, не гревшее на русских морозах. А Лапин был человек очень московский, родившийся и выросший в Москве, в

гуще сретенских переулков, очень любивший Москву, пропитанный ее своебычностью, ее говорком, духом ее вольности. В Октябрьскую революцию ему исполнилось двенадцать лет, он рос в годы гражданской войны, созревал в пятилетке.

Пятнадцати лет Лапин попал на деникинский фронт вместе со своим отцом, военным врачом красноармейского полевого госпиталя. Впечатления эти глубоко запали ему в душу. Они пробиваются даже сквозь манерные интонации его мальчишеских стихов:

На курке от нетерпенья так дрожит моя рука.

Истекаю, истекаю местию большевика…

Он был объят романтическим патриотизмом. Но что было более романтического в мире, чем Советская республика? Он захотел увидеть свою удивительную страну. Жизнь Лапина превратилась в беспрерывные странствования. «Тонкая стена обыкновенного была пробита», – пишет он в свойственном ему тогда приподнятом тоне («Тихоокеанский дневник»).

Он думал, что уезжает на Восток за экзотическими впечатлениями. На самом деле он пошел в люди, по великому примеру славных писателей-реалистов. Он был 458

слишком проницателен и честен, чтобы долго увлекаться внешней живописностью Востока.

«На моих глазах, – пишет он в автобиографической заметке, – совершилось удивительное преображение Средней Азии в Советскую республику, на моих глазах нарушились все старые отношения, возникли совершенно новые… Я увидел Народную Бухарскую республику, совет назиров в эмирской цитадели, коммунистов, управлявших городом средневековых цехов…»

Лапин выехал, чтобы увидеть Восток глазами эстета. Он увидел его глазами исследователя и борца, глазами советского гражданина. Приблизившись к колониальным странам Тихого океана, он записал в «Тихоокеанском дневнике»:

«Трагедия существования всех этих живущих под крупом цивилизации народов и племен – в их жестокой и неумолимой зависимости от европейцев, созданной императорами биржи и конторскими конквистадорами…»

Как это не похоже на кокетливые экстравагантности всяких ничевоков и беспредметников, рядом с которыми еще так недавно соседствовал Лапин! Талант его преобразовался на ходу, в работе. Прорвавшись к большому миру, Лапин прорвался к самому себе. Его искусство наполняется жизненностью и боевой политической тенденцией. Оно приобретает значительность.

* * *

В течение нескольких лет Лапин печатал в газетах свои корреспонденции, подписываясь «Пограничник». Он не был журналистом обычного типа, который наблюдает жизнь с пером в руках. Он всюду вторгался в жизнь как соучастник. Энергии в этом несильном теле хватило бы на добрый десяток здоровяков.

Он прошел горные кряжи Памира как регистратор переписи Центрального статистического управления. При этом он в совершенстве изучил персидский язык. Он работал в Крыму как сотрудник археологической экспедиции. Он исколесил Чукотку как служащий пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племен. В качестве штурманского практиканта на пароходе «Чичерин» он посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геоботанической экспедиции. Он превратил свою жизнь в практический университет. Познания его были разнообразны. Он никогда не щеголял ими. Все в себе ему казалось заурядным. Так, случайно открылось однажды, что он, между прочим, обучался и в авиашколе и получил звание летчика-наблюдателя. Через много лет эти практические знания всплыли в повести «Подвиг», где с профессиональной точностью описаны детали боевой работы военного летчика.

После каждого путешествия круг его друзей расширялся. Среди них были и академик с европейским именем, годившийся ему в деды, и молодой монгольский поэт, повстречавшийся где-то в Гоби, и капитан лайнера, совершающего международные плавания, и другие. Лапин любил людей и книги.

Он любил книги, но не был книжником. И его обширная библиотека вряд ли пленила бы коллекционера, выдерживающего свое собрание в строгом стиле (например, только первоиздания или только восемнадцатый век, только классики и т. п.). Какой-то библиофил, забредший к Лапину, высокомерно заметил: «Это библиотека варвара».

Это была библиотека энциклопедиста. Она отражала широкие жизненные интересы Лапина. Оглядывая его книжные полки, можно было подумать, что они принадлежат нескольким специалистам по разным областям знания.

В газетных очерьках Лапина сомкнулись искусство и репортаж. Из поэзии он принес в журналистику взыскательное отношение к слову. Газета влила в него дух политической страстности, научила его точности, конкретности, оперативности.

Так родился жанр его книг. Он был настолько своеобразен, что его можно обозначить только словом – книга. В одном произведении – и новеллы, и стихи, и документы, и публицистика, и научный трактат, и лирика, и политический памфлет, и сочиненное и подлинное. Все это сгущено на немногих страницах. Таковы и «Набег на Гарм», и «1869 год», и «Разрушение Кентаи», и «Тихоокеанский дневник», и «Посторонний наблюдатель», и даже одна из наиболее зрелых его вещей, обозначенная им самим как повесть: «Подвиг». Это был сознательный стилевой прием. «Эта книга – рассказ о Таджикистане в стихах, повестях, письмах, дневниках, газетных выдержках, рисунках и песнях». (Предисловие к «Сталинабадскому архиву», 1935 г.)

В то же время каждое из этих произведений не мозаично, а напротив, стройно, неразделимо, цельно. А герои Лапина обладают такой силой жизненности, что автору приходилось в специальных предисловиях предупреждать читателя, что они вымышлены.

«В эти тревожные дни два вымышленных героя едут в путешествие на пароходе «Браганца» мимо берегов Сирии…» – и т. д. (Предисловие к книге «Путешествие», 1937 г.)

Эту книгу Лапин написал вместе с Захаром Хацревиным. С некоторого времени они были неразлучны в странствованиях и в труде.

* * *

Всюду, где появлялся маленький Лапин, улыбаясь с нежной рассеянностью и заносчиво поводя упрямым подбородком, рядом с ним шагал, раскачиваясь на длинных ногах, рослый Хацревин, в изящной пиджачной паре, со своей счастливой, немного беспечной улыбкой и чуть раскосыми, беспощадно наблюдательными глазами. Тенорок Лапина и баритон Хацревина сливались не в дуэт, а в унисон. Один начинал, другой подхватывал, первый опять вырывался вперед, второй на ходу вставлял детали. Они много видели вместе, много передумали вместе. Даже когда они пререкались, казалось, что они подходят разными путями к одному и тому же и здесь сталкиваются. Походило на спор, но было согласием.

Захар Хацревин встретился с Борисом Лапиным, когда тот был уже сложившимся писателем. Сам Хацревин только начинал,

хотя он был старше Лапина.

У Хацревина была превосходная фантазия. Он был выдумщиком в сказочном роде. Но это еще предстояло расположить на бумаге, которая одна в состоянии отцедить литературу от словесной пены. Есть авторы, которые предпочитают тяжелому труду над бумагой эффектный шум устной импровизации. Почему? Ссылка на лень тут ничего не объясняет. Талант и лень несовместны. Если о ком-то говорят «талантливый лентяй» – значит, на самом деле талант его неполноценен. Или – он дилетант. В состав дарования входит трудолюбие, признак количества.

Каждый писатель несет в самом себе некоего «внутреннего критика», голос которого и является для него решающим.

А тут у Лапина появился и «критик внешний», но приобщенный к процессу его творчества так интимно, как если бы он был частью самого Лапина. Это было тем более значительно, что Хацревин обладал своего рода абсолютным литературным слухом, чья сила действовала особенно метко, когда она бывала направлена не на самого себя.

Так появился новый писатель: Лапин плюс Хацревин.

Наряду с ним продолжал действовать и прежний Лапин. Можно удивляться его высокой продуктивности. Вместе с Хацревиным он написал: «Америка граничит с нами» (1932), «Сталинабадский архив» (1932), «Дальневосточные рассказы» (1935), «Путешествие» (1937), «Рассказы и портреты» (1939).

И в те же годы один он написал: «Разрушение Кентаи» (1932), «Новый Хафиз» (1933), «Подвиг» (1934), «1869 год» (1935), «Однажды в августе» (1936), «Врач из пустыни» (1937), «Витька» (1938), «В нескольких шагах от реки» (1939), «Приезжий» и «Человек из стены» (1940).

Что касается Хацревина, то он растворился в своем соавторе почти без остатка. До объединения с Лапиным он выпустил интересную маленькую книгу рассказов «Тегеран». После – ничего, если не считать двух-трех рассказов.

При некоторых совпадающих чертах это объединение двух писателей не было таким полным и органичным, как, например, у Ильфа и Петрова, которые сливались, так сказать, химически. Если их книги уподобить воздуху, то Евгений Петров в них играл роль азота. Одним кислородом нельзя долго дышать. Он сжигает. Жгучую емкость Ильфовой иронии Петров разбавлял своим живительным юмором. Они были неразделимы. Когда они обособлялись, воздух распадался, писателя не было.

Лапин и Хацревин иногда явственно отслаиваются друг от друга. Но временами, когда их соединенные усилия достигали

гармонии, им удавалось создавать такие маленькие шедевры, как «Дональд Ши» или «Знаки», 462

принадлежащие к лучшим образцам советской новеллистической литературы. Одна из совместных книг их – «Дальневосточные рассказы» – превосходна.

* * *

Хацревин иногда говорил о Лапине, что по всему строю дарования он больше ученый, чем поэт.

Нужно сказать, что сам Хацревин был широко образованным человеком, особенно в востоковедческих дисциплинах (он окончил Ленинградский институт востоковедения, тогда как Лапин был самоучкой).

Но в этих словах его отразились творческие споры соавторов. Хацревин тяготел к чувствительности, к эмоциональной раскраске сюжета, к плавному рассказу о страстях, к музыкальному построению фразы, даже к строфичности в прозе. Лапин – к изображению эпохи, социальной психологии, к снайперски точному выражению мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его искусстве царит порядок и своего рода суровость, выраженные с присущей ему сдержанной силой. Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос в сухости, свое красноречие – в краткости. В манере его было что-то от «Записок» Цезаря или от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался он пушкинским «Кирджали». К слову сказать, эта восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что иное, как репортаж, гениально вознесенный на высоты большого искусства. Именно этот жанр – с его фактичностью, свободной манерой повествования, коротко, но глубоко врезанными характеристиками и ярко обозначенной политической тенденцией – был излюбленным жанром Лапина.

Но в словах Хацревина была и верно подмеченная черта его друга. И вправду, Лапин иногда напоминал ученого, который приневолил себя к искусству и принес туда точность и обстоятельность лабораторного исследователя. Его книги местами переходили как бы в изыскания.

Лапин, чрезвычайно сознательно относясь к своей работе, знал это и подчеркивал. В «Подвиге» мы читаем:

«Как ученый-исследователь по осколку пористой кости, найденному среди силурийских пластов, восстанавливает неведомый скелет давно погибшего животного, так и я должен

был восстанавливать душевный скелет капитана Аратоки, пользуясь отрывками лживых интервью, рассказами невежественных очевидцев, преклонявшихся перед газетной мудростью…»

Не отсюда ли у Лапина эта страсть документировать свои фантазии, превращая документы в элемент повествования?

Однако не холодное научное исследование было его целью.

«Не как антрополог, не как психолог и не как портретист хотел бы я смотреть на людей. Я хотел бы изучить место, какое люди занимают в своем времени. Я хотел бы, чтобы, взглянув на моего героя, каждый говорил: «Живи я в одно время с ним, я был бы его другом», «Я был бы его врагом…»

Это из книги «1869 год» – о пушечном негоцианте и авантюристе Генрихе Кеферлейне, немецком фабриканте смерти. Сквозь его биографию просвечивает детство империализма, взрыв колониальной экспансии, начало роста вооружений. Из вышеприведенной цитаты становится ясной творческая программа Лапина, как она определялась для него в 1935 году, когда ему исполнилось тридцать лет: с точностью ученого, действуя приемами художника, добиваться политических результатов, заражая читателя любовью или отвращением к героям своего повествования, всегда окрашенными социально. И он этого добивается.

Не сомневаюсь, что, ставши ученым, Борис Лапин, при своих блестящих дарованиях, сделал бы значительные открытия. Но воображение, вся пылкость образного мышления увлекли Лапина в искусство. Научный метод он использовал как поэтический прием. Потому что, вопреки характеристике Хацревина, больше всего Лапин был все-таки поэтом.

* * *

Они были очень дружны. Эта дружба выдержала испытания работой, опасностями, самой смертью.

Они были товарищами в труде, в путешествиях, в воинах. Это была дружба мужественных людей. Они обходились без сентиментальных заверений во взаимной приязни. Напротив, они нередко препирались.

Хацревин не упускал случая подтрунить над феноменальной рассеянностью Лапина.

Эта рассеянность происходила от сосредоточенности. Иногда

она бывала так глубока, что походила на одержимость. Это означало, что Лапин охвачен идеей новой книги или замыслом нового путешествия, куда непрерывно гнал его беспокойный и отважный дух исследователя. Решения его часто казались внезапными. На самом деле они длительно и незримо созревали в недрах его деятельного мозга, что бы другое, видимое, ни делал он в эту минуту: читал ли, гулял ли, разговаривал ли на постороннюю тему. И тогда под незначительностью обыденного разговора порой чувствовалась пылающая работа его воображения. Легкий тик, пробегавший в такие минуты по его лицу, казался произвольным мускульным усилием, способствовавшим напряженной работе мысли.

Лапин любил Хацревина немного покровительственной любовью старшего брата (хотя он был моложе Хацревина) или матери, которая хоть сама и покрикивает на своего несмышленыша, но никому другому не позволяет обижать его. В этом, несомненно, был и оттенок жалости. Широкоплечий жизнерадостный Хацревин был очень больным человеком. Это не помешало ему в 1939 году, когда вспыхнули военные действия на реке Халхин-Гол, домогаться командировки на фронт.

Там, в районе боев, этот хилый человек, с привычками изнеженного горожанина, страдавший жестоким пороком сердца и изнурительными припадками ноктурны (род падучей болезни), не знал ни страха, ни уныния, ни усталости.

Койки Лапина и Хацревина в редакции армейской газеты всегда пустовали. Друзья вечно пропадали на переднем крае. Уже тогда ими владела мечта «раствориться в безымянной красноармейской массе». Впоследствии они развили эту идею в своей пьесе «Военный корреспондент», не достигнувшей сцены, но оказавшей известное влияние на нашу драматургическую литературу.

* * *

В боевой обстановке фронта Лапин и Хацревин показали себя бесстрашными людьми.

Мне кажется, что это бесстрашие покоилось не только на их личных свойствах, на врожденной силе духа или на крепости нервной организации.

Мне кажется, что это бесстрашие происходило и от острого осознания благородства цели, за достижение которой борется

Советский Союз и обороняющая его Красная Армия, от сознания, что вся чистота и правота мира на нашей стороне. Отсюда рождалось ощущение бессмертия – бессмертия дела, защищаемого нами, бессмертия коммунизма. Это в сущности, и было тем, что называется – советский патриотизм.

Лапин и Хацревин никогда не затрепывали этого высокого чувства в болтовне житейских разговоров, но оно выразилось во всем их жизненном поведении, в самой фактуре их произведений, оптимистичной, ясной, жизнерадостной. Иной литератор из «бодрячков» бубнит всю жизнь в такой уныло-монотонной ноте, словно он пишет о зубной боли, а не о строительстве нового мира. Жизнерадостный тон, который так характерен для произведений Лапина и Хацревина (так же как и одного Лапина), является как бы отпечатком самой натуры их, бодрой, неутомимой, бесстрашной натуры бойцов.

Таково было их умонастроение, так и вели они себя на полях этой короткой, но жестокой войны в недрах Азии. Им было нелегко. Никто никогда не слышал от них жалоб. Хацревин мужественно преодолевал свою физическую хрупкость, свои сердечные обмирания, свои эпилептические припадки, которые почти каждую ночь били его. У Лапина от невзгод фронтовой жизни открылся старый рубец на спине, оттуда все время сочилась кровь. Он больше всего боялся, чтобы редактор не заметил этого и не откомандировал его с фронта.

Помимо всего, война остро интересовала их как неповторимый материал для наблюдений. Вот тут и начинаются различия.

Хацревин наблюдал войну с жадной любознательностью, не затрудняя наблюдений никакими литературными расчетами. Эта неутомимая любознательность гнала его под огонь минометов, в гущу атаки, делала его опасным спутником.

У Лапина же этот процесс осложнялся чрезвычайным напряжением внимания, направленным на запоминание. Не доверяя памяти, он записывал все, что видел, в свою тетрадку, которая, так же как и пистолет, всегда была при нем. Он заносил в нее как бы моментальные снимки с натуры – короткими словами, почти стенографическими иероглифами. Тут же с лихорадочной быстротой он запечатлевал обобщения, образы, ассоциации, вихрем проносившиеся в его мозгу. Он запоминал войну как материал для искусства. И никакая острота обстановки не в состоянии была парализовать эту профессиональную потребность писателя.

Как-то на одном из участков на Халхин-Голе наблюдатель доложил, что японцы надевают противогазы. Можно было

ожидать химической атаки. Ни у кого из нас троих не было противогазов, – по недопустимой небрежности мы оставили их в машине и отпустили ее. Все вокруг натянули на себя противогазы, запасных не оказалось.

Я закурил папиросу, чтобы определить направление ветра по дыму. Но медлил смотреть на него. Странное оцепенение овладело мной.

Хацревин беспечно улыбался и, засунув руки в карманы, с любопытством озирался по сторонам.

Лапин же выхватил из кармана свою тетрадку и принялся писать. Он фиксировал свои «предсмертные» ощущения. Он писал очень быстро, чтобы успеть записать как можно больше.

Наконец Хацревин сказал, покосившись на дым моей папиросы:

– Ветер к японцу. Мы вздохнули и рассмеялись.

Потом Лапин читал нам свои лжепосмертные записки:

«Газовая тревога. Барханы. Глубокий песок. До японцев 350 метров. Сидим под высокой насыпью. Над головами жужжат пули. Массивность майских жуков. Здесь в песках портится все автоматическое – пистолеты, часы, ручки. Минометы молчат. Вечер. Но еще светло. Где же газы? Все в масках. Тупоносые. Ворочают серыми резиновыми пятачками. Наших три голых беззащитных лица. Чувство неизбежности. Газ еще не дошел. А может быть, он без запаха? Пульс учащенный. Смуглое небо. Орлы. Низко пролетают. Бегут. Мясистые крылья свистят, сдвигаясь…» И так далее, все в том же стиле скрупулезно точного описания обстановки.

Они оба не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснялся страстью видеть, у другого – страстью изображать.

* * *

Разразилась Отечественная война. Лапин мог бы эвакуироваться вместе с теми, кто уехал в тыл заниматься литературой. Он уже достиг того возраста, когда писатель начинает меньше скитаться, а больше сидеть за письменным столом и разрабатывать накопленное. Но ему показалось невозможным писать, покойно расположившись за широкой спиной Красной Армии. Не жажда впечатлений гнала его на войну, а высокоразвитое чувство патриотического долга. Он примкнул к тому отряду писателей, которые шли, погибали и

побеждали вместе с солдатами.

В сторону неоконченные рукописи! Из-под кровати извлечены запыленные сапоги, на пояс подвешен пистолет, сунута в карман тетрадка. Военные корреспонденты Лапин и Хацревин уехали на Юго-Западное направление. И вскоре на страницах «Красной звезды» стали появляться их «Письма с фронта» едва ли не ежедневно.

С волнением перебираешь сейчас эти газетные вырезки. Они пожелтели от времени. Но короткие фразы еще горячи. В них жар боя и пламя горящих хлебов на полях Украины. Как все написанное Лапиным и Хацревиным, эти корреспонденции о тяжком военном лете 1941 года дышат верой в победу, волей к победе.

По своему обыкновению, Лапин и Хацревин значительно раздвинули привычные функции корреспондентской работы. В одной из немногих существующих в нашей литературе статей о работе журналистов на фронте (сборник «Бои у Халхин-Гола») Лапин и Хацревин пишут, вспоминая опыт 1939 года:

«Часто материал для номера собирали во время боя… Пробираясь по узеньким ходам сообщения, военные корреспонденты записывали в свои блокноты боевую хронику дня. Они наблюдали из окопа за атакой. Им случалось брать интервью, сидя в щелях во время налетов авиации. Дальние и ближние разрывы не мешали сосредоточенной деловой беседе… Вели и политическую работу на передовых позициях… Проводили короткие беседы… о сегодняшнем международном положении, о приеме в партию на позициях, даже о советской художественной литературе…» Лапин и Хацревин гордились своим родом оружия. В армии во время Отечественной войны работали несколько сот журналистов и писателей. Они шагали рядом с солдатами, они мокли в окопах, вылетали на штурмовиках, ходили на подлодках в неприятельские воды, высаживались с десантами, работали среди партизан в тылу у врага. Как у всякого рода оружия, у них были свои обычаи, свой фольклор, своя честь. Они пели свои песни, которые им написали Лапин с Хацревиным и Симонов. Они жили с народом на войне, звали его в бой и сами ходили в бой. Поистине перо было приравнено к штыку, и к свинцу пуль – свинец типографского набора. Среди храбрейших из них были Лапин и Хацревин.

С самого начала войны нас разбросало по разным фронтам. Я был на Ленинградском. Все же еще раз я увидел их.

* * *

В августе 1941 года редакция вызвала отовсюду своих военных корреспондентов на несколько дней в Москву, чтобы дать им новые инструкции. Из-под Киева примчались на пятнистой простреленной «эмке» Лапин и Хацревин. В ночь перед возвращением на фронт Хацревин метался в сорокаградусном жару. К его обычным недугам добавилась дизентерия. Он запретил нам сообщать редактору о его болезни. На следующее утро никто не сказал бы, что он болен. Он был, как всегда, весел, ясен, бодр, он в совершенстве сыграл здорового. И они уехали на своей пятнистой машине обратно под Киев.

А на следующий день уехали обратно в Ленинград Михаил Светлов и я. Поезда уже не ходили. Мы поехали на машине. Но и Ленинградское шоссе оказалось перерезанным. Обходными путями, через леса, мы добрались до Мги и проскользнули сквозь нее. Через несколько часов Она была занята немцами. Последняя дверь в Ленинград захлопнулась за нашей спиной. Мы въехали в блокаду.

Но оставались воздушные пути. Самолеты из Москвы садились на маленьких площадках на окраинах Ленинграда. В октябре прилетел один знакомый летчик. Он рассказал, что Лапин и Хацревин погибли в боях под Киевом. Офицер, который видел их последним, рассказывал. На охапке сена при дороге лежал Хацревин. Он был окровавлен. Лапин склонился над ним, в солдатской шинели, сутулый, с винтовкой за спиной. Они пререкались. Хацревин требовал, чтобы Лапин уходил без него. Лапин отвечал, скрывая нежность и грусть под маской раздраженности: «Ну ладно, хватит говорить глупости, я вас не оставлю…»

* * *

Почему их жизнь мне кажется такой замечательной? Ничего как будто и особенного: труд, скитания, война.

Но доброта, талант, естественное и деятельное благородство, честность, мужество, скромность, рассеянные по многим людям, соединялись в каждом из них слитком высочайшей пробы.

«Мальчики убиты!» – эта весть горестно поразила всех друзей. Я забыл сказать, что их называли «мальчики" (хотя старшему из них исполнилось тридцать семь), – вероятно, за то сияние душевной чистоты, которое так молодило их.

1946